

Константин Леонтьев

Сдача Керчи в 55-м году



Константин Леонтьев

Сдача Керчи в 55-м году

«Public Domain»

1887

Леонтьев К. Н.

Сдача Керчи в 55-м году / К. Н. Леонтьев — «Public Domain»,
1887

«Наши войска отступили из Керчи и сдали ее без боя союзникам 12 мая в 55-м году. Я пишу на память, нигде и ни о чем не справляясь; но я уверен, что не ошибся, что это случилось именно 12 мая. Есть вещи, которые до того поражают нас, что мы их забыть не можем, если бы даже и хотели. Поражают они радостью или горем; торжеством или страданием – все равно; забыть их невозможно...»

Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	8

Константин Николаевич Леонтьев

Сдача Керчи в 55-м году

(Воспоминания военного врача)

I

Наши войска отступили из Керчи и сдали ее без боя союзникам 12 мая в 55-м году.

Я пишу на память, нигде и ни о чем не справляясь; но я уверен, что не ошибся, что это случилось именно 12 мая.

Есть вещи, которые до того поражают нас, что мы их забыть не можем, если бы даже и хотели. Поражают они радостью или горем; торжеством или страданием – все равно; забыть их невозможно!

Я люблю говорить правду. Или вовсе не писать своих воспоминаний, или говорить искренно. Для меня этот день военной неудачи нашей был одним из самых веселых дней моей жизни.

Мне было тогда 23 года; я жил личной жизнью воображения и сердца, искал во всем поэзии, и не только искал, но и *находил* ее! Я желал и приключений, и труда, и наслаждений, и опасностей, и энергической борьбы, и поэтической лени.

Когда я еще студентом в Москве читал стихи Огарева:

Чего хочу? Всего со всею полнотою...

– мне казалось, что Огарев угадан мои чувства, что я почти сам написал эти прекрасные стихи.

Упорного, или, как нынче говорят, «честного», труда за зиму у меня было перед этим достаточно; нынче, кроме того, особенно любят и хвалят «темный» труд, полезный и неприятный, где-нибудь в дали, в глуши и неизвестности. Мой труд от сентября до мая, всю осень и всю зиму перед этим, был именно таким трудом, по мере сил и знания добросовестным, однообразным, ежедневным. Иногда он был очень неблагоприятен и тяжел: в военной больнице, на 20 рублях жалованья, в глуши и неизвестности, в небольшой крепости Еникале, на унылом и безлесном берегу Киммерийского Босфора, в стране «Киммерийского мрака», как выражались древние и, кажется, сам Геродот. В иные месяцы у меня было до 200 больных в день; в их числе было и много раненых из Севастополя. Общество, окружавшее меня в этой печальной и почти забытой крепости, было очень простое, в дурном смысле этого слова, «серое» общество, вовсе неизящное, ни в каком смысле не поэтическое, ни в светском, ни в каком-нибудь диком и оригинальном. Военные доктора, интенданты, самые скромные пехотные офицеры, греческие торговцы рыбой, не рыбаки простые, которые борются с волной морской и опасностями; нет, а просто торговцы рыбой в «немецком платье».

С моим «внутренним» миром, с моими идеалами (в то время скорей всего Жорж-Зандовскими) все эти сослуживцы, сожители и соседи не имели ничего общего; я был для них «младший ординатор», товарищ, неопытный в делах житейских, но уживчивый юноша в форменном долгополом вицмундире с красным кантиком, который ни во что не мешается; сам с подрядчика Гринберга денег не берет, но другим брать не мешает; вообще малый «сносный», лекарь Леонтьев и больше ничего. В Москве студентом я жил в кругу богатых родных, в обществе весьма тонко образованном и светском и ученом; бывал часто у графини С<альяс>, встречал у нее в гостиной Грановского, Кудрявцева, Щербину, П.М. Леонтьева, граф. Ростопчину,

Сухово-Кобылина, Тургенева. С Тургеневым я был давно в дружеской переписке и печатал уже в журналах небольшие повести, не подписывая имени.

Мои сослуживцы ничего этого не знали, и мне это очень нравилось. Я сам хотел быть тогда хорошим или, по крайней мере, хоть сносным военным лекарем, и *пока* (разумеется – *пока*) *больше ничего!* Тем лучше! Как прекрасно! *Здорово!* (я был тогда помешан на «здоровье»!) «Да! здорово и *таинственно!* Полезно и вовсе ново, не испытано...» Правда, я скучал иногда или, скорее, идеально грустил в течение этой трудовой зимы, иногда, но очень редко. Скорее я был счастлив; я был бодр и деятелен в этой «серой» среде, вблизи от этой великой исторической драмы, которой отзвуки беспрестанно доходили и до нас; в беспрестанном ожидании, что вот-вот и мы все здешние – керченские – будем вовлечены в поток этой кровавой борьбы... Когда мне становилось на минуту тяжело и скучно, я с ужасом (именно с ужасом) вспоминал, как я пять лет подряд в Москве все грустил, все раздирался, все анализировал и себя, и других, и, содрогаясь, все подозревал, что и меня другие анализируют с «язвительной улыбкой»; все учился и нестерпимо мыслил; мыслил и учился; все ходил или ездил на извозчике с Пречистенки, от Троицы-Зубова, все по прямым линиям или на Рождественку в клинику, или на Моховую в анатомический театр... Болезненно любил, болезненно мыслил, беспокойно страдал, все высокими и тонкими страданиями... Я вспомнил об этом с ужасом и почти со стыдом (недовольные собой и расстроенные герои Тургенева и других наших литераторов стали мне уже в Москве давно ненавистны)!.. Я вспоминал обо всем этом с отвращением, гляделся в зеркало, видел, до чего эта простая, грубая и деятельная жизнь даже телесно переродила меня: здесь я стал свеж, румян и даже помолодел в лице до того, что мне давали все не больше 20-ти, а иные даже не больше 19 лет... И я был от этого в восторге и начинал почти любить даже и взяточников, сослуживцев моих, которые ничего «тонкого» и «возвышенного» не знают и знать не хотят!.. На радостях я находил в них много «человеческого» и ничуть не враждовал с ними... Я трудился, я нуждался, я уставал телом, но блаженно отдыхал в этой глуши и сердцем, и умом.

Самолюбие мое здесь было покойно; в среде этой, в этой жизни, отчасти похожей на жизнь в крепости, описанной Пушкиным в «Капитанской дочке», отчасти на жизнь «Ревизора» и «Мертвых душ», я считал себя, если не орлом или королевским соколом (этого я, кажется, не думал), то уж наверное какой-то «райской птицей». Эта райская птица по своей собственной воле дала ostrich себе крылья и снисходительно живет *пока*. на заднем дворе и не боится никого, и сама никого не трогает. Это она *пока!*.. Она притворилась только на время «младшим ординатором и больше ничего». Она поэт; она мыслитель и художник, миру пока неизвестный... она, кроме того, «*charmant garçon*»¹, который нравится (кому следует)... и, наконец, калужский помещик, у матери которого в саду, в прелестном Кудинове...

Вблизи шиповник алый цвел,
Стояла темных лип аллея...

Думать так было, может быть, и глупо, но зато очень приятно!

Всю зиму я трудился; лечил, как умел, и перевязывал солдат; резал ноги, руки, вскрывал нарывы; налагал крахмальные сотеновские повязки; вставал иногда (не всегда – каюсь!) среди ночи в дежурные дни для приема новых больных: вскрывал трупы для того, чтобы еще учиться и проверять свою диагностику, и часто по длинным зимним вечерам, в то время, когда смотритель, комиссар, аптекарь и другие играли по соседству в карты, я запирался в своей комнате и перечитывал то Андряля Clinique medicale, то Гуфеланда, то Гризоля, то хирургию Видаля де Касси, то литографированные лекции московского хирурга Басова и петербургского про-

¹ прелестный мальчик (фр.)

фессора Эка. Затруднений и мелких неудобств было много, но я с удовольствием их преодолевал... Литературу, которой я так много занимался в Москве, совсем здесь оставил. Совесть не позволяла мне тут заниматься ею; при виде стольких терпеливых страдальцев, порученных мне судьбою, я желал одного: делать как можно меньше ошибок в диагностике и лечении. В палатах я проводил каждый день от 8 или 9 часов утра до 2-х и более; едва успевая все сделать, что нужно, и усталый, но бодрый и здоровый, спешил жадно съесть очень простой и очень грубый обед у смотрителя, которому я платил за это всего *три* руб. сер. в месяц.

Книг, кроме медицинских, у меня, слава Богу, с собой не было никаких. И у других сослуживцев моих тоже редко бывали книги и газеты.

Чтобы узнать подробнее о том, что делается в Севастополе, надо было съездить за 12 верст в Керчь. Не знаю, как решить теперь, хорошо ли это было или худо, что мы так мало входили в дела, до нас прямо не касательные? Я думаю, что была тут, как и во всем, и доля хорошего: мы полагались по чувству доверия и по привычке на высшее начальство, без больших и часто бестолковых рассуждений; и кто хуже, а кто лучше, но занимались каждый своим ближайшим делом, каждый своими личными интересами – идеальными или практическими, все равно. Из всех живших и служивших в этой унылой крепости русских я еще был самый либеральный и даже слегка «политикующий» человек, но *именно потому*, что политические... не то чтобы убеждения, а скорее, какие-то смутные подобию политических мнений моих были тогда несколько либерального оттенка, я находил более благоразумным класть «дверь ограждения на уста». Я сказал: из всех русских в окружавшем меня обществе... Поляки, сослуживцы наши, те гораздо больше нас занимались политикой: одни в духе довольно даже смелой оппозиции; другие, напротив того, в духе самого исступленного и монархического патриотизма; особенно один молодой артиллерист, о котором мне еще придется говорить, быть может, и не раз.

Когда-нибудь я расскажу гораздо подробнее об этой трудовой зиме моей и обо всех порядках тогдашних; теперь же довольно об этом!

Весна наступила, как наступает она на юге, почти вдруг, без той тяжелой борьбы со стужей, которая бывает у нас, без тающих глыб снега, без шумных потоков, без внезапных взрывов вью и снега. Вдруг все стало веселее, теплее, светлее.

Пролив растаял и прошел... Небо стало чистое; степь зеленая. Больные наши, и те повеселели... И меня стало манить куда-то на волю, и мне захотелось иной деятельности, иной жизни, иной борьбы, не труда честного, а боевой опасности: захотелось в лагерь, в поле, в полк куда-нибудь; в самый Севастополь, если можно.

Года три подряд в Москве, еще до войны, я все думал о Крыме, о Южном берегу, об этой самой Керчи. («Где заколосся Митридат...») Думал я также и вообще об войне, я ужасно боялся, что при моей жизни не будет никакой большой и тяжелой войны. И на мое счастье, пришлось увидеть разом и то и другое совместно – и Крым, и войну. Так как я не был казенным студентом и поэтому пользовался в глазах начальства некоторым правом выбирать себе место службы, то еще прежде высадки союзников в Крым, летом 54-го года, я, в прошениях моих и личных разговорах с медицинскими властями, прямо указывал на Севастополь и Керчь как на места, в которых я служить желаю, именно потому, что там можно ожидать военных действий. В Севастополь мне тогда (то есть летом, до высадки) отказали за неимением вакансий, а назначили в керчь-еникальский военный госпиталь. Итак, хоть степную и восточную часть Крыма я увидал; но никакого даже подобию военных действий до сих пор вблизи не вижу. Мне хоть бы подобие, одно подобие! Что делать? Проситься в Севастополь – это бы лучше всего. Там уж не подобие. Там и докторов убивают!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.